

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

АНТОН
ДЕНИКИН



Путь русского
офицера



МОСКВА

УДК 929(470)"1872/1947"
ББК 63.3(2)6-8
ДЗЗ

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

ДЗЗ **Деникин, Антон Иванович.**
Путь русского офицера / Антон Деникин. — Москва :
Эксмо, 2026. — 352 с. — (Всемирная литература (с картин-
кой)).

ISBN 978-5-04-223177-3

Антон Деникин (1872–1947) — русский военачальник и генерал-лейтенант, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России.

«Путь русского офицера» — автобиографические мемуары, охватывающие его жизнь от юности до 1916 года. В них Деникин описывает судьбу русского офицерства, армейский быт, военные кампании и ключевые события начала XX века, а также размышляет о судьбе России на пороге революции и грядущих потрясений, вплетая личную историю в контекст трагической эпохи.

УДК 929(470)"1872/1947"
ББК 63.3(2)6-8

ISBN 978-5-04-223177-3

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

«Подруге дней моих суровых» — жене, помощнице в трудах, согретый ее заботами, связанный единомыслием, оставляю рассказ о начале моего бытия.

А. Деникин. Мимизан (Франция)

16 января 1944 г.

Часть первая

РОДИТЕЛИ

Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске Варшавской губ., вернее в пригороде его за Вислой — в деревне Шпеталь Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой находился во Влоцлавске; в этих местах родители мои остались жить после отставки отца.

Как известно, часть Польши, со столицей Варшавой, входила тогда в состав Российской империи.

Отец, Иван Ефимович Деникин, родился за 5 лет до Наполеоновского нашествия на Россию (1807 г.) в крепостной крестьянской семье, в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, — в деревне Ореховке. Умер он, когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда пишутся эти строки, 60 лет... Поэтому о прошлой жизни отца — по его рассказам — у меня сохранились лишь смутные, отрывочные воспоминания.

В молодости отец крестьянствовал. А в 27 лет от роду был сдан помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдатской жизни (солдаты служили тогда 25 лет и редко кто возвращался домой), меня полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села и семьи. Да и семья-то рано распалась: родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету.

Где они и живы ли — он не знал. Только однажды, был еще тогда отец солдатом, во время продвижения полка по России судьба занесла его в тот город, где, как оказалось, жил его брат, как говорил отец, — «вышедший в люди раньше меня»... Смутно помню рассказ, как отец, обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был важный обед. И как жена брата вынесла ему прибор на кухню, «не пустив в покои»... Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались.

Солдатскую службу начал отец в царствование императора Николая I. «Николаевское время» — эпоха беспросветной тяжелой солдатской жизни, суровой дисциплины, жестоких наказаний. 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным. Особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказании — «прогнать сквозь строй». Когда солдат, вооруженных ружейными шомполами, выстраивали в две шеренги, лицом друг к другу, и между шеренгами «прогоняли» провинившегося, которому все наносили шомпольные удары... Бывало, забивали до смерти!..

Рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном: — Строго было в наше время, не то что нынче!

На военную службу отец поступил только со знанием грамоты. На службе кой-чему подучился. И после 22-летней лямки, в звании уже фельдфебеля, допущен был к «офицерскому экзамену», по тогдашнему времени весьма несложному: чтение и письмо, четыре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводства и Закон Божий. Экзамен отец выдержал и в 1856 году произведен был в прапорщики, с назначением на службу в Калишскую, потом в Александровскую бригаду пограничной стражи.

В 1863 году началось Польское восстание. Отряд, которым командовал отец, был расположен на прусской границе,

в районе города Петрокова (уездного). С окрестными польскими помещиками отец был в добрых отношениях, часто бывали друг у друга. Задолго перед восстанием положение в крае стало весьма напряженным. Ползли всевозможные слухи. На кордон поступило сведение, что в одном из имений, с владельцем которого отец был в дружеских отношениях, происходит секретное заседание съезда заговорщиков... Отец взял с собой взвод пограничников и расположил его в укрытии возле господского дома, с кратким приказом:

— Если через полчаса не вернусь, атаковать дом!

Зная расположение комнат, прошел прямо в зал. Увидел там много знакомых. Общее смятение... Кое-кто из не знавших отца бросился было с целью обезоружить его, но другие удержали. Отец обратился к собравшимся:

— Зачем вы тут — я знаю. Но я солдат, а не доносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не взыщите. А только затеяли вы глупое дело. Никогда вам не справиться с русской силой. Погубите только зря много народу. Одумайтесь, пока есть время.

Ушел.

Я привел лишь общий смысл этого обращения, а стилия передать не могу. Вообще отец говорил кратко, образно, по-простонародному, вставляя не раз крепкие словца. Словом, стиль был отнюдь не салонный.

В сохранившемся сухом и кратком перечне военных действий («Указ об отставке») упоминается участие отца в поражении шайки Мирославского в лесах при дер. Крживосондзе, банды Юнга — у деревни Новая Весь, шайки Рачковского — у пограничного поста Пловки и т. д.

Почему-то про Крымскую и Венгерскую кампании отец мало рассказывал — должно быть, принимал в них лишь косвенное участие. Но про польскую кампанию, за которую отец получил чин и орден, он любил рассказывать, а я с напряженным вниманием слушал. Как отец носился с отрядом

своим по приграничному району, преследуя повстанческие банды... Как однажды залетел в прусский городок, чуть не вызвав дипломатических осложнений... Как раз, когда он и солдаты отряда парились в бане, а разъезды донесли о подходе конной банды «косиньеров»¹, пограничники — кто успев надеть рубахи, кто голым, только накинув шашки и ружья, — бросились к коням и пустились в погоню за повстанцами... В ужасе шарахались в сторону случайные встречные при виде необыкновенного зрелища: бешеной скачки голых и черных (от пыли и грязи) не то людей, не то чертей... Как выкуривали из камина запрятавшегося туда мятежного ксендза...

И т. д., и т. д.

Рассказывал отец и про другое: не раз он спасал поляков-повстанцев — зеленую молодежь. Надо сказать, что отец был исполнительным служакой, человеком крутым и горячим и вместе с тем необыкновенно добрым. В плен попадало тогда много молодежи — студентов, гимназистов. Отсылка в высшие инстанции этих пленных, «пойманных с оружием в руках», грозила кому ссылкой, кому и чем-либо похуже. Тем более что ближайшим начальником отца был некий майор Шварц — самовластный и жестокий немец. И потому отец на свой риск и страх, при молчаливом одобрении сотни (никто не донес), приказывал, бывало, «всыпать мальчишкам по десятку розог» — больше для формы — и отпускал их на все четыре стороны.

Мне не забыть никогда эпизода, случившегося лет через пятнадцать после восстания. Мне было тогда лет шесть-семь. Отцу пришлось ехать в город Липно зимой в санях — в качестве свидетеля по какому-то судебному делу. Я упросил его взять меня с собой. На одной из промежуточных станций

¹ За недостатком оружия многие отряды были вооружены косами (здесь и далее примечания автора).

остановились в придорожной корчме. Сидел там за столом какой-то высокий плотный человек в медвежьей шубе. Он долго и пристально поглядывал в нашу сторону и вдруг бросился к отцу и стал его обнимать.

Оказалось, бывший повстанец — один из отцовских «крестников».

Как известно, Польское восстание началось 10 января 1863 года и окончилось в декабре полным поражением. Следствием его были конфискация имущества, многочисленные ссылки в Сибирь на поселение и вообще введение в крае более сурового режима.

В 1869 году отец вышел в отставку с чином майора. А через два года женился вторым браком на Елисавете Федоровне Вржесинской (моя мать). Об умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось; кажется, брак был неудачный.

Мать моя — полька, происхождением из города Стрельно, прусской оккупации, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петров, где она добывала для себя и для старика, своего отца, средства к жизни шитьем. Там и познакомилась с отцом.

Когда происходила Русско-турецкая война (1877–1878), отцу шел уже 70-й год. Он, заметно для окружающих, заскучал. Становился все более молчаливым, угрюмым и прямо не находил себе места. Наконец, втайне от жены, подал прошение о поступлении вновь на действительную службу... Об этом мы узнали, когда много времени спустя начальник гарнизона прислал бумагу: майору Деникину отправиться в крепость Новогеоргиевск для формирования запасного батальона, с которым ему надлежало отправиться на театр войны.

Слезы и упреки матери:

— Как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова... Боже мой, ну куда тебе, старику...

Плакал и я. Однако в глубине душонки гордился тем, что «папа мой идет на войну».

Но через некоторое время пришло известие: война кончалась, и формирования прекратились.

ДЕТСТВО

Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были существовать первые семь лет пятеро нас, а после смерти деда — четверо. Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле и разместиться можно было свободнее. Но к шести годам мне нужно было начинать школьное ученье, и мы переехали во Влоцлавск.

Помню нашу убогую квартирку во дворе на Пекарской улице: две комнаты, темный чуланчик и кухня. Одна комната считалась «парадной» — для приема гостей; она же — столовая, рабочая и проч.; в другой темной комнате — спальня для нас троих; в чуланчике спал дед, а на кухне — нянька.

Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Аполония, в просторечье Полося, постепенно вращалась в нашу семью, сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность и до смерти своей с нами не расставалась. Я похоронил ее в Житомире, где командовал полком.

Пенсии, конечно, не хватало. Каждый месяц, перед получкой, отцу приходилось «подзаныть» у знакомых 5–10 рублей. Ему давали охотно, но для него эти займы были мукой; бывало, дня два собирается, пока пойдет... 1-го числа долг неизменно уплачивался с тем, чтобы к концу месяца начинать сказку сначала...

Раз в год, но не каждый, спадала на нас манна небесная в виде пособия — не более 100 или 150 руб. — из прежнего места службы (Корпус пограничной стражи находился

в подчинении министра финансов). Тогда у нас бывал настоящий праздник: возвращались долги, покупались кое-какие запасы, «перефасонивался» костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу — увы, штатское, что его чрезвычайно тяготило. Но военная форма скоро изнашивалась, а новое обмундирование стоило слишком дорого. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Да в сундуке лежали еще последний мундир и военные штаны; одевались они лишь в дни великих праздников и особых торжеств и бережно хранились, пересыпанные от моли нюхательным табаком. «На предмет непостыдных кончины, — как говаривал отец, — чтоб хоть в землю лечь солдатом...»

Помещались мы так тесно, что я поневоле был в курсе всех семейных дел. Жили мои родители дружно; мать заботилась об отце моем так же, как и обо мне, работала без устали, напрягая глаза за мелким вышиванием, которое приносило какие-то ничтожные гроши. Вдобавок она страдала периодически тяжелой формой мигрени с конвульсиями, которая прошла бесследно лишь к старости.

Случались, конечно, между ними ссоры и размолвки. Преимущественно по двум поводам. В день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся — в долг, но обыкновенно без отдачи... Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо. Сыпались упреки:

— Что же это такое, Ефимыч, ведь нам самим есть нечего...

Или еще — солдатская прямота, с которой отец подходил к людям и делам. Возмутится человеческой неправдой и наговорит знакомым такого, что те на время перестают кланяться. Мать — в гнев:

— Ну кому нужна твоя правда? Ведь с людьми приходится жить. Зачем нам наживать врагов?..

Врагов, впрочем, не наживали. Отца любили и мирились с его нравом.

В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался... молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится и разговор не примет нейтральный характер.

Однажды мать бросила упрек:

— В этом месяце и до половины недотянем, а твой табак сколько стоит...

В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалкий, что мы оба — мать и я — стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму.

Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же никогда я делать этого не смел. Но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца.

Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец — никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден... Что карандаши у меня плохие, ломкие, а не «фаберовские», как у других... Что готвальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, не полна и неисправна... Что нет коньков — обзавелся ими только в 4-м классе, после первого гонорара в качестве репетитора... Что прекрасно пахнувшие, дымящиеся «сердельки» (колбаски), стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны... Что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил целых три копейки, а на открытый берег реки родители не пускали... И мало ли еще что.

Но с купаньем был выход простой: уходил тайно с толпой ребятишек на берег Вислы и полоскался там целыми часами; одним из лучших пловцов стал. Прочее же — ерунда. Выйду в офицеры — будет и мундир шикарный, появятся не только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть каждый день...

Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно социальную неправду, — это когда, благодаря скверной готовальне (только потому, так как чертежник я был хороший), учитель математики поставил мне в четверть неудовлетворительный балл и я скатился вниз по ученическому списку.

И еще один раз... Мальчишкой лет шести-семи в затрапезном платишке, босиком я играл с ребятишками на улице, возле дома. Подошел мой приятель, великовозрастный гимназист 7-го класса, Капустянский и, по обыкновению, давай меня подбрасывать, перевертывать, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому:

— Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками!

Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побегал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому.

— Ах он сукин сын! Гувернантки, видите ли, нет у нас. Я ему покажу!

Пошел к инспектору и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал — куда деваться, как извиниться.

РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Больные русско-польские отношения, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри ее не вызывали решительно никаких недоразумений. Отец был кровный русак, мать оставалась

полькой, меня воспитывали в русскости и в православии. Собственно, «воспитывали» — в данном случае понятие относительное. В нем предполагается какая-то система, направление. Ничего подобного не было. Я рос — по тесноте нашей — среди больших, много слышал, много видел, что нужно и не нужно было, воспринимал и перемалывал в своем сознании самолично, редко обращаясь к старшим за разъяснением по вопросам из области духовной.

Ни отец, ни мать не отличались лингвистическими способностями. К сожалению, это свойство унаследовал и я. Отец, прослужив в Польше 43 года, относясь к полякам и к языку их без всякого предубеждения, все понимал, но не говорил вовсе по-польски. Мать впоследствии старалась изучить русский язык, много читала русских авторов, но до конца своей жизни говорила по-русски плохо.

И так, в доме у нас отец говорил всегда по-русски, мать — по-польски, я же — не по чьему-либо внушению, а по собственной интуиции — с отцом — по-русски, с матерью — по-польски. Впоследствии, после выпуска моего в офицеры, когда матери пришлось возвращаться почти исключительно в русской среде, чтобы облегчить ей усвоение русского языка, я и к ней обращался только по-русски. Но польского языка не забыл.

Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном. Отец был человеком глубоко верующим, не пропускал церковных служб и меня водил в церковь. С 9 лет я стал совсем церковником. С большой охотой прислуживал в алтаре, бил в колокол, пел на клиросе, а впоследствии читал шестопсалмие и апостола.

Иногда ходил с матерью в костел на майские службы, но по собственному желанию. Но если в убогой полковой церковке нашей я чувствовал все *свое*, родное, близкое, то торжественное богослужение в импозантном костеле воспринимал только как интересное зрелище.

Иногда польско-русская распря доносилась извне...

В нашем городке под Пасху, в Страстную субботу, ксендзы и полковой священник обходили дома для освящения пасхальных столов. К нам приглашались и ксендз, и русский священник отец Елисей. Последний знал про этот наш обычай и относился к нему благодушно. Но ксендзы иной раз приходили, иной раз отказывались. Помню, какую горечь такой отказ вызывал у матери и какой гнев — у отца. Впрочем, один из ксендзов объяснил, что принципиальных препятствий он не имеет, но боится репрессий со стороны русской власти...

Однажды — мне было тогда лет девять — мать вернулась из костела чрезвычайно расстроенная, с заплаканными глазами. Отец долго допытывался, в чем дело, мать не хотела говорить. Наконец, сказала: ксендз на исповеди не дал ей разрешения грехов и не допустил к причастию, потребовав, чтобы впредь она воспитывала тайно своего сына в католичестве и в польскости... Мать разрыдалась, отец вспылил и крепко выругался. Пошел к ксендзу. Произошло бурное объяснение, причем под конец перепуганный ксендз упрашивал отца «не губить его»... Власть в Привислянском Крае была в то время (80-е годы) крутая, и «попытка к совращению» могла повлечь ссылку в Сибирь на поселение. Конечно, никакой огласки дело не получило.

Не знаю, как проходили дальнейшие исповеди матери, ибо никогда более родители мои к этой теме не возвращались.

На меня эпизод этот произвел глубокое впечатление. С этого дня я, по какому-то внутреннему побуждению, больше в костел не ходил.

Надо признаться, что обострению русско-польских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особенности в школьной области. Во Влоцлавском реаль-

ном училище, где я учился (1882–1889), дело обстояло так: Закон Божий католический ксендз обязан был преподавать полякам *на русском языке*; польский язык считался предметом необязательным, экзамена по нему не производилось, и преподавался он также *на русском языке*. А учителем был немец Кинель, и по-русски-то говоривший с большим акцентом. В стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квартирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны. И даже бывший варшавский генерал-губернатор Гурко, герой Русско-турецкой войны, пользовавшийся в глазах поляков репутацией «гонителя польскости», не раз в своих всеподданнейших докладах государю, с которыми я познакомился впоследствии, указывал на ненормальность некоторых мероприятий обрусительного характера¹.

Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили *между собой* по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка.

Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом колонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921). Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в цер-

¹ В 1905 г. вышел указ: преподавание польского языка и Закона Божия должно производиться на польском языке; во внеурочное время разрешено пользоваться «природным языком».

ковных проповедях и местами — в богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор — художественный образец русского зодчества — был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей — с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»...

Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою! И впереди никакого просвета в русско-польской распре не видать.

Вернемся, однако, к нашему далекому прошлому.

Застав в училище такое положение, я, десятилетний мальчишка, по собственной интуиции нашел *modus vivendi*: с поляками стал говорить по-польски, с русскими товарищами, которых было в каждом классе по три, по четыре, — *всегда* по-русски. Так как многие из них действительно ополчились, я не раз подтрунивал над ними, поругивал их, а иногда в серьезных случаях и поколачивал, когда позволяло «соотношение сил». Помню, какое нравственное удовлетворение доставило мне однажды (в 6-м классе), когда мой приятель — серьезный юноша и добрый поляк — после одной такой сценки пожал мне руку и сказал:

— Я тебя уважаю за то, что ты со *своими* говоришь по-русски.

Кроме поляков и русских, в каждом классе училища были и евреи — не более двух-трех. Хотя почти половина населения города состояла из евреев, которые держали в своих руках всю торговлю, и много среди них было людей состоятельных, но лишь очень немногие отдавали тогда своих детей в училище. Остальные ограничивались «хедером» — специально еврейской, отсталой, талмудистской, средневекового типа школой, которая допускалась властью, но не давала никаких

прав по образованию. В нашем реальном училище «еврейского вопроса» не существовало вовсе: сверху евреи не испытывали никаких ограничений, а в ученической среде расценивались только по своим моральным, вернее, товарищеским качествам.

В 7-м классе я учился уже вне дома, в Ловичском реальном училище, о чем речь впереди. Был «старшим» на ученической квартире (12 человек). Должность «старшего» предоставляла скидку — половину платы за содержание, что было весьма приятно; состояла в надзоре за внутренним порядком, что было естественно; но требовала заполнения месячной отчетности, в одной из граф которой значилось: «уличенные в разговоре на польском языке». Это было совсем тягостно, ибо являлось попросту доносом. Рискаю быть смещенным с должности, что на нашем бюджете отразилось бы весьма печально, я всякий раз вносил в графу: «таких случаев не было».

Месяца через три вызывают меня к директору. Директор Левшин знал меня еще по Влоцлавскому училищу, откуда он был переведен в Лович, и любил. За что — не знаю. Должно быть, за то, что я порядочно учился и хорошо пел в ученическом церковном хоре — его детище.

— Вы уже третий раз пишете в отчетности, что уличенных в разговоре на польском языке не было...

— Да, господин директор.

— Я знаю, что это неправда.

Молчу.

— Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы: мы должны замирить и обрусить этот край. Ну, что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти.

Был ли директор твердо уверен в своей правоте и в целесообразности такого метода «замирения» — не знаю. Но до конца учебного года в моем отчете появлялась сакральная фраза — «таких случаев не было», а с должности меня не сместили.